

3416 — Федор Гладков —

Об А. С. Неверове

Летом 1920 года, изучая драматургическую литературу, я с особенным удовольствием прочел пьесу «Бабы». На обложке книжечки стояла фамилия А. Неверов — имя для меня новое. Пьеса привлекла мое внимание свежестью языка, яркостью характеров и молодой уверенностью автора. Несомненно, драматург хорошо знал деревню и умел чутко прислушиваться к душевной жизни крестьянина. Смелость молодого автора испугала тогда режиссера театра: ему показался чудовищным дерзкий натурализм некоторых сцен, особенно та сцена, где бабы ищут насекомых в голове друг у друга.

Через два года, в один солнечный весенний день, я зашел в лито Наркомпроса на Волхонке. Возглавлял его тогда А. С. Серафимович. Он очень ласково приветал начинающих писателей. В его кабинете я застал сухоощавого, немного бледного, еще молодого человека в военной шинели. Хотя сидел он со скромным достоинством, чем-то озабоченный, но в маленьких, горячих глазах его играли искорки лукавой улыбки. Серафимович назвал знакомую мне фамилию — Неверов. Я заявил, что знаю его по пьесе «Бабы». Он мгновенно оживился и с хитрецей в смеющихся глазах спросил:

— Ну, как вам они, мои «Бабы»? Правильные? Они никому не нравятся, вшивые.

И с самолюбивым беспокойством последил за моим лицом. Я ответил, что актерам, действительно, пьеса не нравится, а на меня она произвела сильное впечатление своей художественной яркостью, драматизмом и сочностью языка.

— Ну! Слава богу!... — И он юмористически вздохнул.

Посмеялись, пошутили, и в комнате как-то сразу стало тепло, светло и задумчиво. Вышли мы вместе и всю дорогу до его квартиры в Староконюшенном пе-

реулке, не умолкая, говорили, как старые друзья. В это время я жил в подвале рабочего клуба 1-го городка на Смоленском бульваре, а Неверов поселился у своего самарского товарища, писателя П. Ярового.

Удивительные были эти годы. Голодные, холодные, неуютные, они были насыщены огромной бодростью, жизнерадостностью и юношеской верой в близкое счастье. В сыром подвале я ютился как в тюремной одиночке (даже окно у потолка было заковано железной решеткой) и с упоением работал над повестями и рассказами, мечтал о литературных успехах и не сомневался в своих силах. Неверов вместе с Яровым: один — в шубе, другой — в шинели — сидели в дымной, закопченной комнате за одним столом и писали с ожесточенным упорством.

Сенгилеевские учителя, сочно окающие, выросшие в крестьянской среде, оба они, не похожие друг на друга, горели огнем вдохновения и трудились с утра до вечера.

Сблизились мы с Неверовым быстро и стали часто бывать друг у друга. Обычно он приходил со свертком рукописи и читал новый рассказ или повесть. Так прочитаны были «Полька-Мазурка», «Андрей Непутевый» и каждая вновь написанная частичка «Ташкента, города хлебного».

Читал он неспешно, но, увлекаясь и переживая, иногда приходил в восторг и с веселой хитринкой в глазах восклицал:

— Скажешь — плохо? Нет-с, милый мой, очень даже здорово. Молодец, Александр Сергеевич!..

А в самых интересных и острых местах поминутно отрывался от рукописи и проверял впечатление: дошло ли, поразило ли, понравилось ли прочитанное? И, когда видел, что хорошо действовало написанное, ликуя, подмигивал. О «Ташкенте» мы много говорили с ним, кое-какие места обсуждали вместе.

Однажды мы были приглашены на литературный вечер А. С. Серафимовичем — кстати, редчайшим по задушевности человеком, очень равнодушным к молодым литераторам. Он только что закончил свой «Железный поток» и решил прочесть его своим друзьям. Мы с А. С. взволнованные пошли к нему на Красную Пресню, где он жил тогда в Б. Трехгорном переулке. Собралось человек пятнадцать писателей. Серафимович читал часа три, но повесть так захватила нас, что эти три часа промелькнули незаметно. Это была не повесть, не роман в обычном смысле слова: в книге не было ни интриги, ни психологического, ни бытового сюжета, ни борьбы личных страстей. Это была скорее всего поэма о движении к борьбе народа, поэма о героическом «исходе».

На вечере у Серафимовича Неверов говорил много и горячо. Он горел от восторга, и лицо его тогда не играло улыбками, а было серьезно и даже строго. Искусство для него было священнодействием: он жил им и отдавался ему без остатка. Я редко встречал писателей, которые так целомудренно и вдохновенно горели бы литературой, как Неверов. Художественное творчество было для него его личным поведением. Он не допускал в оценках ни лжи, ни притворства, ни лицемерия.

И когда он говорил у Серафимовича о «Железном потоке» с восторгом и волнением, лицо его было сурово от глубокого потрясения, и в нем я видел что-то вроде страдания, какое бывает у художника, который переживает душевное смятение.

По дороге домой он повторял, вздыхая: — Ну, и старик!.. Ну, и наворочал же!.. Как далеко нам до него!.. Даже сердце щемит от зависти!..

И несколько дней он переживал сильное беспокойство, даже в глазах его горела лихорадка. В эти дни он писал с утра до ночи, не отрываясь от машинки. Еще на улице слышна была трескотня клавишей, и я знал, что он, Неверов, пишет новый рассказ, или продолжает неоконченный роман «Гуси-лебеди».

Общение с писателями для него было

потребностью. Его никак невозможно было представить уединенным, всегда погруженным в работу за столом. Все свободное время он был в толпе литераторов. И всегда он был душою общества — шутил, смеялся, веселился, пел волжские песни.

Мы часто гуляли с ним по московским бульварам и переулкам. Москву он любил сразу же. Любуясь ею, он растроганно говорил:

— Хозяйственный, крепкий работник был русский человек. Надо понять и представить себе, с каким упорством и терпением завоевывал и строил он свое государство. Москву создал — это тебе не игрушка. Украсил ее, сотворил, великое, самобытное искусство сотворил. Сколько раз разрушали Москву татары, огню и грабежу предали французы, — а оживала и расцветала, еще богаче и пышнее. Замечательный русский человек — трудолюбивый, упрямый и патриот изумительный. Москва — самый бунтарский город на земле. И хочется мне изобразить русского человека, беспокойного искателя счастья... Много у него приключений, борьбы, но он все препятствия преодолевает... знаешь, как Ильи Муромца или Васюка Буслаева...

Как-то я обратил внимание Неверова на песенное построение его повествовательной фразы, где глаголы и определения располагались в конце предложений. Такая система построения предложения делает его речь рыхлой и народно-певучей и чувствительной. Наше боевое, энергичное искусство требует твердого и уверенного ритма, — противоположной структуры фраз. Мы должны идти не по пути Златовратского, а по пути Толстого и Чехова.

Он задумался, а потом быстрой скороговоркой решительно возразил:

— Мне былинны нравятся: фразы в них, конечно, архаичны, но сила там необыкновенная. Мужик знает тайну могучего образа. Он не просто говорит, а эпопею поет; в ней и гроза сверкает, и гром гремит, и горе плачет, и гнев ревет, как буря, и разливанное веселье плещет...

Мужик — поэт и песенник. Он и плачет от сердца и веселится от души. Он ничего на веру не берет — скептик, но и бунтарь исторический. Язык у него богатый, певучий, и мудрый. Говорит он и поет, как холсты расстилает...

Мне казалось, что Александр Сергеевич говорил это о себе.

Александр Сергеевич очень любил своих друзей и в дружбе был целомудренно верен. Прямой, искренний в вопросах искусства, он и в дружбе был благороден. Никогда он не позволял себе злословить о писателях, а если случалось, что слышал дурные слова о друзьях, бурно бросался на зомля с негодующим окриком:

— Это — безобразие! Вы не имеете права оскорблять такого-то. Я не выношу людей, которые осмеливаются мазать дегтем ворота у собрата...

Когда припадки грудной жабы были особенно мучительны, он не жаловался, не приходил в ужас. Он только замолкал и задумывался в странном и сосредоточенном недоумении. И все-таки не замыкался, не уходил в себя: продолжал посещать литературные собрания, спорить, устраивать дружеские вечеринки, и словоохотливо мечтать о новых рассказах и повестях. Умер он под грузом богатых, многообразных замыслов — умер внезапно зимой 1923 года.

Рано утром ко мне пришел его сын — Папа и почему-то спокойно сообщил:

— Папа умер.

И в этом спокойствии мальчика было что-то жуткое.

Когда я пришел на квартиру Неверова на Полянке и увидел его неподвижно лежащего около стены у окна с едва уловимой знакомой улыбкой, мне почудилось, что он устроил очередную веселую шутку: лицо его было совсем живое, а бледность была у него обычной. Но руки на груди были уже мертвенно жестки и грудь не поднималась.

Я тогда долго плакал около его труп: было горько и тяжело, что такой молодой и талантливый человек бессмысленно ушел из жизни в то время, когда он только что вступил на широкую литературную дорогу.